

Дней через десять мать раскрыла фээсбэшную сеть, внедрившуюся в психбольницу, и забрала меня домой. Добрый психиатр счел мое состояние неопасным и согласился отпустить.

Я тогда был молод, здоров, набит школьными глупостями. Я вновь стал надеяться. Мозг решил, будто психушка — это очередная случайность и можно продолжать жить дальше.

До вступительных экзаменов оставалось порядка трех недель; отойдя от таблеток, я стал готовиться с утроенной силой. Мне так хотелось попасть в университет, что я пришел в приемную комиссию самым первым. До сих пор храню я в столе расписку о приеме документов: на ней стоит номер 0001. Только благодаря ей я пока не забыл окончательно беготню по коридорам главного университетского корпуса, волнение перед экзаменами, неразбериху при заходах в аудитории, оглушительный провал на зачете по английскому, который я ни черта не знаю, хотя учил двенадцать (а вернее, теперь уже семнадцать) лет, и трехчасовое сидение в коридоре в ожидании окончательного результата. Я твердо решил покончить с собой в случае неудачи. Лучше смерть, чем «служение отечеству». Быдло не должно было снова ко мне притрагиваться.

В военкомате давно точили на меня зуб. Очень там были недовольны, что мне представился второй шанс поступать в вуз (документы в МИРЭА я подавал накануне семнадцатилетия). Они слали мне повестку за повесткой и всячески демонстрировали свое бешенство. По мнению медкомиссии, я должен был стать достой-

ным воином. Единственным, кто смотрел на меня с подозрением, был психиатр. Но он был не тем благородным врачом истерзанных душ, что выпустил меня из сумасшедшего дома. Это был паук-птицелов, а вернее, солдатолов. И лассо на меня он плел годами. Он заявил, что даже если я поступлю повторно в вуз (в чем он сомневается, поскольку один раз я уже «вылетал»), он все равно имеет право выдернуть меня оттуда и положить на обследование в психбольницу. Пока я обследуюсь, меня отчислят и после этого — смело призовут. Он, ясное дело, нагло врал, не было у него таких полномочий, однако разговор в подобном ключе выбил меня из колеи. Помню, возвращаясь из военкомата, я потерял кроссовку, когда пытался запрыгнуть в последнюю дверь автобуса. Закрывающаяся дверь зажала мне ногу, автобус тронулся и чуть было не потащил меня по асфальту. Спасением стала давняя привычка не затягивать шнурки: кроссовка слетела, и пятнадцатиметровый убийца увез только его.

И вот я сидел в коридоре университета, ожидая результатов и готовя себя к полету с балкона пожарной лестницы близлежащего высотного здания или отдыху на рельсах станции метро «Юго-Западная».

Я поступил. Мой мозг находился тогда в самом прекрасном состоянии. И все равно по конкурсу я прошел только чудом. Мне помогло мероприятие, которое все отчего-то ругают: ЕГЭ. (Вернее, ругают его не «отчего-то», а как раз от этого: оттого, что ЕГЭ дает шанс таким дебилам, как я, получить образование.) В 2007 году вузовские экзамены еще не отмени-

ли, но ЕГЭ по русскому языку был также обязателен. Написал я его баллов на 60 из 100, однако по университетской шкале их пересчитали как 8 из 10. По внутренним же экзаменам университета отметки были ниже.

Так я опять стал студентом.

* * *

Радость матери по поводу моего поступления была сдержанной. Гуманитариев она презирала; филологамии были ее покойная тетка и школьная подруга, и она отзывалась о них со скепсисом. Да и могла ли она порадоваться? В иных обстоятельствах ей должно было стать приятно, что сын-идиот теперь учится в университете, почти как нормальный человек, но в те дни вуз был для нее лишь дополнительным фактором, мешающим отъезду в КНДР.

Рита с Вадимом сказали, что гордятся мной. Уж не знаю, насколько можно гордиться успехами чужого сына, когда свой лежит в могиле, но мне на их месте не хватило б сил даже на имитацию положительных эмоций.

Тем временем, как раз к моему дню рождения, за тысячу километров от Москвы, Патрика выпустили из больницы, и настала пора новой встречи. Жалко, не получилось отметить наши совершеннолетия вместе: а ведь они у нас шли с разницей всего в два дня. Помешало отсутствие грязных зеленых бумажек.

К слову, о бумажках: мать страшно боялась, что я уеду в Ростов, и объявила экономическую блокаду. Денег, даже на карманные расходы, не предвиделось. Выручили Рита с Вадимом. Они продолжали считать меня восторженным остолопом, но были рады, что у меня (рожденного подохнуть в говне и одиночестве и всю жизнь к этому идущего) все же «появилась девушка», и старались помочь, чем возможно.

В Ростове я предполагал найти ответы на вопросы, которых становилось все больше. Я прожил с Патриком несколько недель, но фактологической информацией о нем практически не располагал. Почему он сбежал из дома? При каких обстоятельствах он пытался покончить с собой, и насколько серьезны были его намерения? Кем он был до встречи со мной? И кто он теперь? Не «вылечили» ли его в психиатрической больнице, не стал ли он обычным человеком? Насколько сильным и искренним было его стремление к «саморазрушению»? Как долго он принимал наркотики? Правда ли у него есть проблемы с психикой или же он придумал их, чтобы вписаться в свой собственный образ? Правда ли он считает себя парнем? И самое главное: что он думает обо мне? Каким он видит меня? И каким я должен стараться казаться?

С этими мыслями я отправился в Ростов. Я думал, будто вернусь в свой рай. Но меня и Патрика ждало чистилище. От чего же оно должно было нас очистить? Наверное, от угля, который мы насобирали на железной дороге. От искривленных красных галактик, до сих пор стоявших перед нашими глазами. От грохота победного салюта в голове.

* * *

Когда я вышел из автобуса в Ростове и встретился на вокзале с Патриком, позвонила мать. Она была крайне встревожена, но смысл ее сообщения не вполне до меня доходил. Она говорила, что после моего отъезда агенты ФСБ проникли в квартиру и заперли входную дверь изнутри на щеколду. Я не воспринял это всерьез. Она уже неоднократно пыталась идти на хитрости и подлости, лишь бы расстроить мои попытки выбраться из дерьма.

Добравшись до дома Патрика, я узнал о еще одной подлости. Мать позвонила родителям Патрика и долго с ними беседовала. Она в подробностях описала мое буйство и вынужденную госпитализацию. Мать надеялась, что Снежана с Валентином тотчас меня выгонят, но они, конечно, выгонять не стали, хотя и начали смотреть на меня несколько по-другому. В школе ведь как учат? Если человек лежал в психушке, значит, жди от него беды. Тем более если его мать преследует ФСБ (о чем им также было известно). Таким образом, кое-чего мать все же добилась, но об этом я расскажу позже (если не забуду). А тогда Снежана с Валентином встретили меня с распростертыми объятиями.

Что же было дальше? А дальше я почти ничего и не помню. Подозреваю, что там и вспоминать-то нечего. Может, я зря постоянно жалуясь, что все забываю. Может, я ничего не помню потому, что ничего и не было? Из событий и фактов, которые еще хранит моя память, я не могу отобрать что-то, что могло бы быть интересно другому человеку. Я приехал в Ростов никакой. У меня не было личности, у меня не было прошлого, если не считать раннего детства, о котором все равно никому не расскажешь. Моя жизнь началась на станции «Комсомольская» 23 апреля 2007 года, и вся она прошла у Патрика перед глазами. Да и эта жизнь, помимо Патрика, была наполнена дерьмом и пустотой. С дерьмом мы боролись, насколько вообще могут бороться два слабых человека, против которых ополчился весь мир. Теперь дерьмо кончилось, и осталась пустота.

Нам по-прежнему было хорошо вместе. Так хорошо, как никогда. Мы еще думали, что находимся в раю. Но это было чистилище, но это была пусто-

та. А поскольку я никакой и не блещу притом умом и удачливостью, то и делал в этой пустоте все, чтобы она поскорее кончилась, и снова началось бесконечное дерьмо и безумие, только уже без Патрика.

Тогда, в раю, я совершал ошибку за ошибкой. В чистилище ничего не изменилось.

Помню, уже в день моего приезда, вечером, Патрик сел за компьютер и принялся играть. Мне стало обидно, я вышел из комнаты, хлопнув дверью. За что я обиделся на Патрика? За то, что он не знал, чем со мной заняться? Что ему захотелось поиграть? Что он тратил бесценные секунды нашей совместной жизни не на «общение» со мной? Почему в тщеславную мою голову не пришло тогда понимание, что это на себя я должен злиться: это я никакой, и не тем человеком я родился, чтобы мне кто-либо «посвящал каждую секунду жизни».

Патрик тогда очень расстроился. Я его обидел. Он бросил компьютер и пошел за мной. Он не сердился: в реальном общении Патрик всегда был со мной добр. Он объяснил, что ему плохо, когда хлопают дверьми. Это, сказал он, одна из самых страшных вещей. И больше на компьютере он не играл. Он был чутким человеком и мгновенно улавливал как озвученные, так и невербальные послылы, исходящие от собеседника. В отличие от меня, «писателя», который самую очевидную и естественную реакцию человека предугадать не может, а смысл и последствия собственных слов и поступков понимает лишь спустя много лет.

* * *

Если от вышесказанного создается впечатление, будто бы мы с Патриком целыми днями только и делали, что висели друг у друга над душой, не давая заниматься привычными делами и страдая от невозможности выразиться друг перед другом, — то впечатление это в корне неверно. Мы были двумя молодыми людьми в наивысшем расцвете сил и занимали в жизни друг друга главнейшее место. Чтобы, находясь вместе, испытывать скуку — такое совершенно невозможно. С виду у нас все было хорошо, просто отлично, лучше, чем когда-либо. Но только будущее способно отделить зерна от плевел и от семян Анчара. Сейчас, вспоминая те восхитительные дни, я понимаю, что все-таки был никем. У меня, в отличие от Патрика, не было устоявшейся жизненной позиции, мнения по каким-то важным вопросам, оригинальных мыслей. Фрагментарные знания (или, скорее, полужнания, граничащие с суевериями), вбитые в школе в голову нормы, обрывки уличной субкультуры, усвоенной от дворовых приятелей, циничные повадки, позаимство-

ванные у одноклассников, моралистика зюгановских старушек, недопонятая и почти забытая литература, пошлые фильмы и добрые советские мультфильмы — все это бессистемно и разгульно бродило по моей голове, приводя иногда к вспышкам прозрения, но куда чаще — к глупым высказываниям, подлым поступкам и абсолютной социальной несостоятельности. В общении с Патриком все приходилось выдумывать на ходу, и далеко не всегда первое, что приходило на «ум», было правильным вариантом ответа. Я знал многие мысли Патрика и, когда мог, просто отзеркаливал их, делая вид, будто сам до них дошел и мы такие родственные души. А когда я его мыслей не знал, вот тогда-то и начиналась ерунда, тогда-то и брякал я несусразицу. Не знал я и того, как вести себя с девушкой, да еще с такой, которая выдает себя за парня, — и когда намекал Патрику, что он все-таки не парень, тот страшно сердился. И все-таки он был девушкой, причем очень женственной. Это я сейчас понимаю, а тогда попросту обижался на Патрика за его резкие перемены настроения, за его стремление быть ведомым, противоречившее его словам и идеям. Зря Патрик все это запоминал: зря у него не было провалов в памяти, как у меня. Вряд ли говорил я оскорбительные для него вещи (а может, и говорил: я был в чем-то высокомерен и смотрел на людей как на говно), но мнение о моем характере и моей личности постепенно составлялось. Вот это-то и трагично: ведь ни характера, ни личности у меня еще не было.

В Ростов я привез «Странников»: там я их писал и давал читать Патрику и Снежане. Снежана, впрочем, заснула на второй странице, а вот Патрик читал долго. Не потому что интересно — потому что был интересен я. Он приревновал меня в Вельде. И, опять-таки, зря. Ведь и Вельда в той редакции не имела ни характера, ни личности. Ее образ и потом-то не очень проработался и мерк на фоне той же Кати Сайдлер, вышедшей на редкость живой, хотя и тривиальной, — но даже и за такую бледную абстракцию Патрик на меня обиделся, и всегда писал и говорил потом, что он не Вельда и что никогда он ею не будет. Я не рассказывал ему, что за год до нашего знакомства я перерисовал в Adobe Photoshop одну девушку-фотомодель — так, чтобы та походила на Вельду. Работая в фотопечати, я выжег портрет этой перерисованной девушки лазером внутри маленького хрустального брелока в форме сердечка. А год спустя, в тот день, когда мы с тувелькой Патрика столкнулись в прихожей, этот брелок полетел с балкона и раскололся вдребезги.

Много, много делал я ошибок. Раньше, к примеру, я не задумывался о своем отношении к людям. Познакомившись с Патриком и решив, что тот их боится и не-

навидит, я тоже стал говорить, что ненавижу. Я любил мать, но с тех пор, как в детстве надо мной посмеялись те мерзкие мальчишки на даче, никому об этом не рассказывал. При Патрике же я отзывался о ней презрительно: «мамаша» называл я ее. Я помнил эротические сцены в повестях Патрика и сам начинал шутить, пошло и глупо, хотя всегда испытывал отвращение к этой тематике. Патрик писал, говорил, какой он сумасшедший, — и я старался показать, что не дружу с головой, что я опасен и буен. Да чего я только не вытворял, пытаясь понять философию Патрика и показать, как она мне нравится. Я даже (прости господи) трансвеститом подумывал стать.

Только вот наркотиков пугался. И темы саморазрушения. Тем я впадал в другую крайность: если чураться — плохо, если слишком быстро навстречу идешь — и того хуже.

А с виду все было лучше некуда.

* * *

Лучше некуда было и в семье Патрика.

Валентин отслужил во флоте. Одно время он злоупотреблял алкоголем, но взял себя в руки, закодировался, и дела семьи пошли в гору. Он получил строительное образование, устроился по профессии, стал хорошо зарабатывать. Хватало и на автомобиль, и на постепенное обустройство их старинного дома. Родом Валентин был из Ставрополя. В процессе разговора он откальвал иногда остроты, какие так просто не придумаешь и на какие горазды лишь жители южнорусских земель. От него веяло добродушием, но Патрик говорил, что боится его. Многим словам Патрика я не придавал большого значения (да и все остальные не придавали), но все-таки стал его отца остерегаться, невзирая на проявляемое добродушие. Я всех отцов остерегался, поскольку все они, узнавая, что меня воспитывали одни женщины, загорались желанием сделать из меня настоящего мужика. Ну или как минимум смотрели как на не вполне полноценного. И если к взглядам таким я почти привык, то вот попытки «сделать мужика» ненавидел люто.

Снежана была женщиной высокой, красивой и еще более импульсивной, чем Патрик. Дом, в котором мы жили, был построен в конце позапрошлого века ее пращуром: человеком, хоть и принадлежавшим к третьему сословию, но впоследствии ставшим белым офицером. Снежана этим очень гордилась. Работала она на должности, не требующей многих физических затрат, но и оплачиваемой соответственно. Она могла и вовсе не работать и мечтала об этом, ибо являлась, как она сама отрекомендовала себя,

личностью творческой. Любимым ее занятием был уход за садом и многочисленными кошками. Любила она и страшного сторожевого пса, которого пару лет назад спасла от хозяина-пропойцы, приковавшего его на короткую цепь и не дававшего ни еды, ни питья. Снежана знала, что Патрик называет ее Гитлером, но, кажется, не очень от этого расстраивалась, и когда я спросил, не ответила, отчего так повелось и что она на сей счет думает. Хотя Патрик знатно заморочил ей голову: забываясь, она часто говорила о нем в мужском роде.

Словом, что мать, что отец были людьми обыкновенными и совершенно приличными, и где таился конфликт, я никак не мог уразуметь. Лишь много позже понял я, что он лежал на самой поверхности. Ведь Патрик не был обычным. И родители в нем это ненавидели. Родители мечтали это искоренить. Обычным родителям нужна была обычная дочь. Не потому, что они злые, не потому, что тираны, а по той лишь причине, что они хотели добра.

Это проявлялось во всем. Как самый близкий мне пример приведу самого себя. По сути, такой человек, как я, был им глубоко чужд и неприятен. Когда минуло около недели и чувство «благодарности» пошло на спад, тут бы им и отправить меня восвояси. Но нет. Снежана и Валентин мечтали, чтобы я на Патрике женился. Я, разумеется, об этом тоже мечтал, но по другой причине. А почему мечтали они? Да потому, что любая нормальная барышня, если она не учится и не работает, должна выйти замуж. Или как минимум обзавестись женихом. Обещать, но не жениться, конечно, нехорошо, но куда хуже представлялось Снежане с Валентином нынешнее состояние Патрика. Они исповедовали вульгарный фрейдизм. Фрейдизм-то сам по себе вульгарен, а в «понимании» людей, с трудами Фрейда не нашедшими должным ознакомиться, он приобретает формы монструозные и разрушительные. Я, конечно, знал, что все «постиндустриальное» общество на вульгарном фрейдизме помешалось, и сам еще толком не решил, насколько он мне чужд, да и чужд ли вообще (отчего пошлил в разговорах), но, столкнувшись с ним в лоб, пришел в сильное расстройство.

Да что я заладил «вульгарный фрейдизм» да «вульгарный фрейдизм»? Скажу уж как есть: Снежана и Валентин через меня собрались излечить болезнь под названием недотрах, а остальные беспокоившие их проблемы (личность Патрика) рассматривались исключительно сквозь призму данного недуга.

Жаль, не существовало языка, на котором можно было в те дни пересказать Патрику предыдущие два абзаца.

* * *

Как всякая импульсивная женщина, Снежана легко создавала себе высокие авторитеты, кумиров. В период моего пребывания в Ростове кумиром ее был психиатр, очень старый, занимавшийся на склоне лет частной практикой. Патрик был его завсегдаем. Вскоре и самому мне выпала честь побывать на приеме у премудрого змия.

Сказанное в воду не канет. Не зря скрывают люди, что сидели в психушке. Не зря эта информация считается медицинской тайной, столь крепкой, что ее и простым врачам, непсихиатрам, не поверяют. Молодые ребята — да, они любят психов, юродивых всяких (вернее — юродствующих, но об этом — потом). А взрослые косятся с подозрением. Я и сам кошусь — не зря же не выходил на контакт с братвой из «класса». В первый день, когда мать проронила слово, нам с Патриком как будто бы удалось обставить дело так, будто я нормален, а в дурку меня упекли из-за трагического стечения обстоятельств. Но семья сомнения пало на возделанную почву. Потому от предложения заглянуть к змию отказываться не пристало.

Другим фактором, подтолкнувшим меня на поход к частному психиатру, стал привитый в школе рабский менталитет. Мне, как и остальным, там втемяшили, будто отказ от предложения взрослого человека есть дело постыдное. Попробуй-ка откажи учителю или завучу. А если уж отказываешь, будь готов к последствиям. Рабский менталитет, подкрепленный унижениями, еще не раз сыграет со мной злую шутку.

Пришлось к психиатру пойти. Кому-то сам поход к подобного рода специалисту видится оскорблением человеческого достоинства. Встречал я таких людей — и не единожды. Но я, тужившийся над ванночкой в кафеле перед санитаркой и двадцатью психами, имел о человеческом достоинстве свое представление и грустил лишь потому, что опять придется вспоминать бесчисленные свои унижения под взглядом человека, которому абсолютно на тебя наплевать, а если и не наплевать, то рассматривает он таинства твоей души, как энтомолог спаривание каких-нибудь клопов. (Пример я привел неудачный: спаривание клопов, по крайней мере постельных, — процесс крайне увлекательный, в отличие от моей унылой и противной жизнишки.)

На счастье, тот психиатр не походил на предыдущих. Я понял это, едва вошел в его кабинет, а вошел я с трудом: до того раздут был от чувства собственного величия этот восьмидесятилетний старикашка. В тот раз я впервые смог на приеме у врача расслабиться. По сравнению с его величием все мои проблемы казались мышшиной возней. Про школу я ему рассказы-

вать не стал, а начал сразу со знакомства с Патриком. Перед моим приходом с психиатром разговаривала Снежана, затем — Патрик. Поэтому я передал события последних двух месяцев с максимальной объективностью, чтобы они казались на фоне величия еще более ничтожными. Когда настало время арии самого психиатра, я без особенного удивления узнал, что он также вульгарный фрейдист, и терпеливо выслушал его советы. Закончился прием тем, что господин доктор выписал мне целебные снадобья, хотя в общем и целом мое состояние не внушало беспокойства. На прощание он подмигнул и добавил, что снадобья не помешают и даже поспособствуют решению «основной проблемы».

После моего ухода психиатр поделился со Снежаной наблюдениями, и, кажется, она осталась вполне ими удовлетворена. Хотя большого значения придавать этому не стоило: вскоре авторитет старичка-психиатра в глазах Снежаны потерпел крушение, и вместо него воздвигся новый кумир: женщина-медиум. Но к ней я уже не ходил.

* * *

Сам Патрик большую часть времени воспринимал происходящее в его семье с горькой иронией, замаскированной под безразличие (как Воннегут, когда пишет о приближающемся апокалипсисе). Он придерживался мысли, что настоящий дурдом не внутри стен психбольницы, а вне их. Он ничему не удивлялся, но переживал все тоньше, чем другие, и деться от этого никуда не мог. Чтобы как-то мириться с окружающими обстоятельствами, он употреблял кодеин, экстрагируемый из пенталгина и терпинкода. Это меня пугало. Мне в школе хорошо промыли мозги, и я считал, что наркоманами становятся в основном от горя. А вот про непрменный атрибут наркомании — отсутствие мозгов — учителя отчего-то умалчивали. (Еще б им не умалчивать! Кто, как не они, плодит безмозглых?) Теперь я уверен, что Патрик никогда ни на что не подсядет, хоть он и утверждает обратное.

После нескольких недель в психбольнице он почти не изменился, разве что довольно коротко постригся и покрасился в блондинку (каждый раз, встречаясь с Патриком, я видел его с новыми стрижками). В дурдоме ему понравилось: лечился он в санаторном отделении, где порядки были совсем не как у нас и имелся нормальный туалет, вмняемые соседи и даже доступ во Всемирную паутину. Было ему в радость и пить назначенные врачом лекарства. Сильного влияния на самочувствие они не оказывали, но, по-видимому, все же несколько притупляли негативные переживания, отче-

го Патрик находился в состоянии человека, избавившегося от недомогания, присутствовавшего с ним долгое время и почти ставшего нормой, но нормой не бывшего, что и стало ясно, когда это недомогание кончилось. «Состояние легкой пришибленности», — называл он свои ощущения от приема психотропных лекарств.

Должно быть, я уже писал об этом выше, но Патрик чувствовал и осознавал все события глубже и четче, нежели остальные люди. То, что было ерундой для остальных, для Патрика приобретало огромную важность. Поэтому я не могу утверждать, будто все вышепредставленные и нижеизложенные попытки заглянуть в содержимое его головы и запечатлеть его в словах есть что-либо большее, чем простая графомания. Скорее всего, это графомания и есть, и вот почему. Во-первых, мысль изреченная есть ложь. Я долго спорил с этим тезисом, но теперь полностью с ним согласен. Даже собственные мои мысли мне сложно передать. Более того, скажу: чтоб я сдох, если найдется во всем мире человек, которому я хоть когда-то хоть что-то смог бы объяснить. Во-вторых, не будучи в силах передать мысли собственные, я априори пасую перед тем, чтобы заглянуть в голову иному человеку. О чем думает мой собеседник или просто посторонний, определить мне удавалось редко, несмотря на весь «жизненный опыт» и «писательские» наклонности. Мои же мысли, напротив, многими определялись на счет «раз». И чем глупее и примитивнее был человек, тем лучше был развит у него так называемый эмоциональный интеллект, тем легче определял он, о чем я думаю и кто есмь таков. Быть бы такому проныцательному товарищу писателем или психологом — но нет, он все понимал, не осознавая, инстинктивно, подобно зверю, в ботанике хоть и не сведущему, но безошибочно находящему в чаще траву, что поможет ему излечиться от хвори. Ну а в-третьих, я даже в теории Патрика понять не способен. Этот человек устроен сложнее, чем я. Почему я так решил? Да потому хотя бы, что он мог озвучить проблемы, нас обоих беспокоящие, мог описать тревожащие нас ситуации и состояния, мог передать на бумаге наши мысли и чувства. А я не мог. И окружавшие меня люди не могли. А если ты не способен облечь чувство в слово, если тебе не дано пересказать, что ты видишь и что с тобою стряслось, то это почти слепота и несуществование. Я уверен, что любовь появилась после того, как слово «любовь» придумали. Ранее наши предки и мыслить не могли, что одна из тех эмоций, которую они испытывают, вождедая спариться с самкой, есть прекрасное и возвышенное чувство, и оно, может быть, важнее даже самого спаривания, а остальные эмоции должны померкнуть на ее фоне. А любовью когда это

поименовали, описали, растиражировали — тогда и понеслось. «О, Дульцинея!..» Так же и с остальными движениями души: коль скоро названия для них не найдено, то они и не существуют, а коли и существуют, то сугубо в зачаточной форме.

Ровно по этой причине никто и не понимал, почему Патрик пытался покончить с собой. Причина казалась всем столь незначительной, что, не умея анализировать реальность при помощи слов, обнаружить ее среди множества обстоятельств, предшествовавших попытке суицида, не представлялось возможным. «Ненормальный — и этим все сказано». Я же, как мог, пытался до первопричины доискаться. С родителями Патрика я на эту тему старался разговор не заводить, как обычно, неведомо чего боясь (рабский менталитет) и ожидая, что мне сами все расскажут. Я дождался: однажды Снежана рассказала.

Случилось это накануне 9 мая 2006 года. Патрик оканчивал школу, готовился к поступлению в университет, много занимался. Администрация школы требовала взятку за медаль, угрожая занизить некоторые оценки в аттестате. Патрик порезал вены в их с Валентином отсутствие, лег на кровать, а руку опустил в ведро. «Полведра было, когда мы ее нашли», — сказала Снежана. Полведра крови в человеке, конечно, нет, это уже дорисовало воображение перепуганной матери, но потерял Патрик изрядно. Я это, правда, и так знал — достаточно было взглянуть на шрам. Но, несмотря на шрам этот, я все же считаю, что Патрик не хотел умирать. Вернее, и хотел, и не хотел одновременно, и, перерезая вены, хорошо все рассчитал. Он знал приблизительно, когда должны были вернуться родители. Родители могли задержаться или кровь могла вытекать слишком быстро. В этом случае он бы умер, и одно из его противоречивых желаний осуществилось бы. Но родители могли подоспеть и вовремя. Тогда его бы спасли и, может быть, стали бы по-другому к нему относиться, прислушивались бы чутче к его словам, были бы к нему добрее. Патрик верил в судьбу. Совершая самоубийство, он словно кидал монетку. Мертв — значит, так и надо, жив — получается, для чего-то он нужен этому сраному миру. Вот что я думаю о суициде. Но это — лишь догадки. Ну а о причинах я говорить не стану. Я долго искал их в Ростове. Их нельзя было увидеть или как-то воспринять органами чувств. Там не было объективной беды, и тем трагичнее. Если б я увидел в доме Патрика алкоголизм, болезнь, безумие, бедность, это было бы не так печально. Ведь самая трагичная разновидность несчастья — то, что люди создали сами. То, что они могли бы уничтожить в любую секунду, только захоти, но рядом с чем они живут до самой смерти, страдая сами



и заставляя страдать других. Я знаю причину, она рукотворна, однако озвучить ее было бы оскорбительно по отношению к Патрику, и если я угадаю, и если нет. Мысль изреченная есть ложь. Просто надо помнить, что есть комплексные чувства: чувства, противоречащие одно другому, но взаимодействующие друг с другом при этом, рождающие новые эмоции и желания, столь же противоречивые, иногда низменные и разрушительные, но чаще — великие настолько, что не под силу этому миру подыскать им должное место. И все это — у человека в голове. У Патрика.

Помню, в первый день, когда я только приехал, я рассказал Патрику мутное видение, представшее мне в тряске и духоте 17-часовой поездки на автобусе. Мне привиделись яблоки: большие, гладкие, блестящие, твердые и кислые, со шкуркой в белесых точках. Я помню это видение между делом, рассказывая о чем-то другом. Но Патрик не забыл о яблоках и вечером купил их мне: те самые, зеленые в точках, твердые и восхитительно-кислые. Я и сам не подозревал, как мне

их хотелось. А Патрик придал моим словам значение и увидел полусознательное желание, крившееся за ними. Таким он был чутким человеком. И еще тысячу подобных примеров можно привести, да только к чему? Сам-то я оставался дуб дубом. Ну зачем понадобилось мне хлопать тогда дверью? Как Патрику это было страшно! А мне? Я всю жизнь общался в такой манере, и со мной общались. Но я понял, что ненавижу эту манеру. Ненавижу, когда хлопают дверью. И сам хлопать терпеть не могу. И мне ничуть не менее страшно, что мы с Патриком будем общаться в том же ключе, и станем друг для друга не чем-то особенным, а просто людьми, хлопающими перед носом дверями: он — передо мной, я — перед ним. Но понял я, как это страшно, лишь хлопнув. И лишь услышав объяснение Патрика. Именно в таких ситуациях Патрик вложил мне в голову мысли, блуждающие в ней и поныне. Не родителям, не школе, не «друзьям», а только ему одному обязан я искрой разума, начавшей тлеть в моем мозгу. Именно Патрик создал мою личность — до знакомства

же с ним все мои поступки были примитивны и рефлексорны, как у какой-нибудь амебы. «Человек — тварь счастливая и одноклеточная», — любил поговаривать Патрик. Таким счастливым и одноклеточным был и я.

* * *

В Ростове я гостил недели три и хочу сказать, что зажгли мы на славу. В основном мы, конечно, сидели в комнате Патрика. Нас это не очень-то смущало. Патрик не любил выходить из дому, и, глядя на него, я понял, что тоже не люблю. Что ждало меня за пределами родных стен? Одни лишь ублюдки, жаждавшие моей гибели. Но и такой элементарный вывод без Патрика я сделать не мог.

Да и зачем было выходить? «У меня в голове Интернет», — говорил Патрик про себя. У каждого человека в голове Интернет. Просто каждый смотрит в нем то, что и в Интернете обычном. У многих в голове «Веселая ферма» или «Камеди клуб». У меня — графоманский сайт. А Патрик показал мне истинные размеры этого внутреннего Интернета, так что его комната стала эдаким буддистским храмом, где я обрел просветление (а может, помутнение — но помутнение созидательное).

Скажу пару слов про саму комнату. Как и моя (вернее, моя, как и его), она была разрисована странными надписями. Я не любил, когда гости спрашивают про мои надписи (ибо не могу объяснить их значения), а потому не интересовался и надписями Патрика. Хотя кое-что было ясно и без комментариев. Так, на системном блоке красовалась надпись «Москва — ништяк!». Я напыжился от гордости, увидев ее впервые. На стене над кроватью Патрика висел календарь с изображением храма Василия Блаженного. Только висел этот календарь кверху ногами, и перевернутые кресты были обведены черными окружностями. Над календарем Патрик прибил старую материнскую плату под процессор Pentium III (ее мы унесли из мусорного бака одного компьютерного сервиса). Тумбочку он обклеил репринтным изданием газеты «Правда» за март 1953 года — за тот день, когда опубликовали известие о смерти Сталина (газету ему подарил я). На столе Патрика стояла сплетенная из тонких веточек подставка для дискет — «эльфийская». На подоконнике стояла модель «Москвича-412» с отломанной крышечкой капота — ее Патрик особенно любил. Имелось и немало других интересных предметов. К примеру, кукла Барби со сломанной шеей и в перепачканном красной краской хитоне из мешковины. К шее Барби была привязана оборванная веревочная петля. Стены были увешаны рисунками, на половине из которых за-

печатлелись ипостаси Патрика. До Патрика у него было много имен. Анта, Марта, Электричкина — это как минимум, это то, что знаю я. И какая из ипостасей была настоящим Патриком?

Я начал создавать резервную копию воспоминаний давно. Работа движется медленно. Вроде бы прошло двадцать страниц, а я успел состариться на несколько лет. В первой части, посвященной моему раю, я сказал, что персонаж и автор — это совсем разные люди. Теперь я думаю не так. Я считаю, что каждый персонаж — это автор. Каждый из героев Патрика — это Патрик. Каждая маска человека — это сам человек. Патрик любил создавать образы. Писать про тех, кем он хотел бы быть. И тех, кем бы не хотел — но не хотел-то он как раз потому, что тоже становился на их место и примерял на себя их личности. Он фотографировался в разных обличьях, порой ему совершенно чуждых. А кем он был по-настоящему? Да всем он был, я же сказал в начале абзаца. Патрик из «Анальгина» — это настоящий Патрик. И Минерва — это настоящий Патрик. И девушка, похожая на палочника. Все они — настоящий Патрик. А тот Патрик, который представлял передо мной, Патрик «реальный», — это был лишь один из образов, для настоящего Патрика далеко не самый удачный и любимый, хотя и постоянно совершенствуемый.

«Главное, — повторял Патрик, — не пытайся меня изменить». Что он разумел под этим? Как мог я изменить его? А как я мог его не менять? Общаясь с человеком, ты, хочешь не хочешь, а меняешь его. Какая-то информация, полученная от тебя и о тебе, так или иначе запишется в мозг собеседника, изменив структуру нейронных связей, и никак не просчитаешь, к чему это приведет в дальнейшем. Так или иначе, пробуешь ты человека менять или не пробуешь, изменения будут, другой вопрос, насколько они совпадут с твоими желаниями. Не зря же избегаем мы людей, нам неприятных: боимся, что частица их грязи перекинется на нас самих, — и боимся не зря. Что до меня, то я старался обращаться с Патриком настолько осторожно, насколько это вообще возможно для человека, совершенно не разбирающегося в людях, и изменить не пытался, хотя и хотел, и неустанно просил его быть осторожнее и беречь себя (на что Патрик усмехался, ел тайком пенталгин и вбивал скрепки в руки).

Я точно знаю, что изменил Патрика. Чуть-чуть и не так, как хотел, — но изменил. Я подсадил его на группу Turmion Katilot и мультфильмы про Бивиса и Баттхеда. Благодаря мне он полюбил крабов. Я как-то уподобил им самого Патрика: у крабов ведь глаза на антенках, благодаря чему они могут взглянуть на

аверс и реверс одновременно. С тех пор Патрик любил называть себя крабом; ранее же он говорил только «йа криведко». Еще из-за меня он перестал ходить в темных очках. Однажды я сказал, что люди носят темные очки, чтобы укрыть взгляд от окружающих. Патрику это показалось своеобразным читерством в игре под названием «Жизнь», и он убрал очки подальше. Он хотел показать людям, что не боится их. А я вот люблю темные очки. Мне нравится прятать взгляд.

Сейчас тот редкий случай, когда я привел факты в свою пользу не из тщеславия, а лишь как пример тезиса, что любое общение влияет на обоих собеседников.

* * *

Время от времени мы выходили из дома и бродили по Ростову. Патрик думал, что мне скучно сидеть на одном месте; я же считал, что для лучшего взаимопонимания между людьми нужно как можно больше общих впечатлений и воспоминаний, а дома их взять особенно-то и неоткуда.

Этот город всякий раз поражал меня. Его нельзя было назвать глухой провинцией: это был настоящий мегаполис с более чем миллионным населением (а если брать агломерацию, то и до двух миллионов могло дойти). Атмосфера тут напоминала скорее не постапокалипсис, а киберпанк. Именно здесь я начал понимать, что происходит, когда люди перестают заботиться о внешнем мире и начинают все тащить к себе домой. «Осознанный эгоизм» и либертарианство во всей красе. Эти разбитые улицы со свалками на обочине проезжей части, кривые-косые трамвайные рельсы, по которым громяхают гнилые, рассыпающиеся на ходу трамваи, алкоголики, валяющиеся с утра на тротуарах в лужах мочи и рвоты, оравы гопников, объявления на каждом столбе о розыске маньяков и убийц, наполовину развалившиеся, наполовину собранные из мусора дома, во многих из которых даже канализации нет, гниющие развалины заводов-гигантов. Зато в каждом дворе — иномарки. Зато у каждого — дорогой сотовый телефон, хорошая одежда. На окнах — спутниковые тарелки. Среди руин — коттеджи в три-четыре этажа за трехметровыми заборами. И всюду видеокамеры, чтобы дерьмо, которым люди активно насыщают внешний мир, не проникло в их священные жилища. «Зато перестройка дала нам пиццу "Хат"!»

Чего я только не видел! Видел дом, у которого сгорел второй этаж, первый был заброшен и разграблен, а в подвале жили люди — причем не бомжи, а прописанная там семья. Видел другой дом, двухэтажный, многоквартирный; часть кирпичной стены второго эта-

жа упала прямо на улицу, и это место огородили ленточками, но другой кусок стены продолжал нависать над прохожими, которые шли мимо и думать не думали посмотреть наверх. Видел бомжа, да такого, который выглядел бомжем даже по сравнению с московскими люмпенами. Он больше походил на человека с необитаемого острова: со спутанными, слипшимися, годами не стриженными волосами и бородой, черной от грязи, в коричневых лохмотьях, невероятно тощий, босой, он шел, шатаясь, по людной улице, и никто не обращал на этого человека внимания. На лодыжке его зиял свежий ножевой порез, из которого еще сочилась кровь.

Водить автомобили в Ростове не умели напрочь. Что такое разметка, мало кто знал, благо попадалась она нечасто. О существовании пешеходных переходов водители даже не догадывались. На светофорах тормозили, лишь когда существовала реальная угроза получить удар в лоб или в бок. На «лежачих полицейских» не тормозили вообще. В Ростове в принципе не любили пользоваться педалью тормоза, поскольку половина улиц спускалась к Дону под сильным уклоном и, двигаясь вниз, остановить свою тонну-полторы ржавого металла было проблематично, а при движении вверх после вынужденной остановки было столь же сложно тронуться.

Проклинаю я ростовские автобусы. Половина парка — это так называемый еврохлам: автобусы, отходившие свое в европейских странах и вместо свалки отправленные в Россию (за деньги неплохие, но с успехом «распиленные»). Автобусы, конечно, качественные, надежные даже после многих лет езды под задницами сосисочников, лягушатников и макаронников, но для наших реалий никак не подходящие. Во-первых, у них всего две двери: спереди и посередине, да и те узкие. Во-вторых, в салоне только сидячие места и очень узкий проход между ними (компоновка как в наших междугородних автобусах). В-третьих, в данных автобусах предполагался кондиционер, но подковыкать его Левши из автопарков не осилили. А окна не открывались. За бортом тем временем доходило до +42 градусов. Пары поездов мне хватило, чтоб чуть не двинуть кони.

Не лучше обстояли дела и с трамваями. Пидоры-водители запросто могли бросить машину на трамвайных путях и уйти по своим делам. И плевать им было на полтора часовую пробку. Мир же создан для них одних. Я уж не говорю, что какой-то имбецил, не иначе как в средние века, придумал проводить трамвайные пути посередине улицы, а не вдоль обочины. «Что? Автомобили должны останавливаться вместе с трамваем? В первый раз слышу!» Только выработанная в

школе параноя помогла мне выжить, когда я выходил из трамвая на остановках посреди четырехполосных дорог.

Открою тайну: в Ростове хотели сделать метро. Существовало несколько серьезных организаций, занимавшихся подготовкой к реализации этого масштабного строительства. Финансировались они сполна, но с конца 1970 годов, когда первые проекты были подготовлены, не выкопали ни одной ямки. На интернет-форумах я читал, что против строительства метро были многие ростовчане. Они аргументировали свою позицию доводом, что с подземкой «Ростов превратится в помойку, как Москва».

Оттого я и предпочитал общественным транспортом не пользоваться, тем более маршруты были проложены не вполне удачно. В основном ходил пешком и Патрик.

Но тут мы столкнулись с феноменом гопничества. Вернее, не столкнулись — феномен сей просто навис над нами дамокловым мечом. Будь я один, меня б непременно достали. Но со мной ходил Патрик, а красивая женщина делает человека в глазах плебса богачом. Как меняется отношение холопов к обладателю «майбаха» или шубы из шкуры вымирающего животного, так поменялось отношение агрессивных ублюдков и ко мне. Да, они видели, что я тощ, жалок, волосат и напрашиваюсь тем самым на уничтожение. Но меня выбрала красивая женщина, а значит, что-то, что может пойти человечеству на пользу, во мне есть. Патрик стал моим талисманом в абсурдном мире «понятий», управляющих жизнью быдла, и за три недели гопники ни разу не преградили нам путь. Лишь однажды подошел к нам жуткий человек, лысый, татуированный, с огромным тесаком в кожаных ножнах за поясом и очень, очень пьяный. Но он всего-навсего хотел узнать, как пройти в библиотеку.

Неподалеку от дома Патрика мы нашли заброшенный завод. Сначала мы решили, что его разбомбили фашисты, но потом идентифицировали следы охотников за металлоломом из 90-х годов, которые выдрали из пола и стен станки, подъемники и вентиляцию, в результате чего половина цехов обрушилась. Один цех, впрочем, выглядел достаточно крепеньким, хотя и не подлежал восстановлению. В нем мы часто проводили время, прячась от зноя, попивая пивко и болтая о жизни. Разбитый пол первого этажа заливала гигантская лужа, посреди которой находился остров из бетонных обломков. На остров можно было попасть, прыгая по кирпичам, ржавым железякам и старым бочкам, из которых вытекало черное нефтяное дерьмо. На этом острове мы и сидели, глядя в Черный Квадрат на дне лужи (это была уцелевшая вентиляционная труба, ве-

дущая куда-то в затопленный подвал). Со дна лужи поднимались пузырьки, громко и с эхом булькавшие. Вскоре мы уловили в бульканье закономерности: пузырьки поднимались не когда-то там, а после определенных наших фраз. Мы поняли, что у наших ног не просто вода, а негуманоидная форма жизни, странная, но разумная, вроде океана на Солярисе, и она пытается выйти на контакт. С тех пор мы болтали втроем: я, Патрик и Мыслящая Лужа.

Жаль, родители Патрика не показывали той же адекватности, что прячущийся на заброшенном заводе жидкий интеллект. Постепенно я начал их раздражать. Ну, Валентин-то сразу понял, кто я такой, только не сказал ничего. А неприязнь Снежаны развивалась скачкообразно. Для начала ее начало раздражать, что я сплю часов до одиннадцати, а то и до тринадцати дня. У них в семье было принято вставать рано. Какие еще традиции я нарушал? Ну, к примеру, я не ел по расписанию. Дома у меня кухня абсолютно не приспособлена для еды: она забита старой мебелью, на мебель почему-то взгроможден компьютер матери, и развернуться в такой обстановке сложновато. Оттого я всю жизнь ел где придется и когда придется. В семье же Патрика на завтрак, обед и ужин за столом собирались все, кто был дома. Проблема в том, что в это время мне жрать совсем не хотелось, и половина еды оставалась в тарелке. Зато я мог заточить какой-нибудь ништяк из холодоса в час заповедный и постный. Причем сам ништяк был определен Снежаной отнюдь не для затачивания мной, а для какой-нибудь фаршированной курицы или селедки под шубой. Так я подорвал к себе доверие, хоть в школе и учился быть вежливым и скромным.

В один прекрасный день мне намекнули, что пора бы двигать домой. Патрика определяли на службу в одно заведение при «экономическом университете» (шарашкиной конторе), занимавшееся копированием и размножением текстовой информации. Работе в заведении этом посвящен рассказ Патрика Rank Hero Ltd. Я успел посетить эту страну принтеров и ксероксов и даже сфотографировал Патрика в подсобном помещении, все стены которого с пола до потолка были обклеены вырезками из порножурналов. Ну а потом настала пора прощания.

Опять был автобус, опять стоял Патрик под окном и смотрел на меня. Опять кончалась эпоха моей жизни, в которой я был счастлив и которую не сумел задержать на сколь-либо отличное от статистической погрешности время. Я надеялся, что зимой, когда настанут в университете каникулы, мы снова встретимся. Надеялся, что найду подработку, постепенно накоплю на комнату в общежитии, и Патрик снова убежит ко

мне, на этот раз навсегда. А Патрик стоял под окном автобуса, и в его глазах можно было бы прочитать (если б я не был слеп), что никакого счастья для нас не существует, что я родился для того, чтоб умереть в говне и одиночестве, что вот сейчас заканчивается счастье, жизнь, радость и дальше будут только стоны, которые слышат лишь те, кто умирает, запах жареного мяса, смерть и кое-что похуже смерти.

АД

Ну а дальше начинается форменный ад. Язык мой косен, словарь скуден, о синтаксисе и говорить не пришло, вот и остается лишь одно средство выражения экспрессии. Я обожаю всякие шутки про говно. Мне скажи только «говно» — и я начну ржать сильнее, чем от самого отвязного анекдота. В дальнейшем я часто буду употреблять это короткое, но звучное слово, за которым скрывается мощная, потрясающая по уровню своего философского обобщения символика, грозная стихия, величайшая из земных сил, самая злая, жестокая, всеохватывающая и необоримая.

Я правда не способен по-иному описать то, что было со мной дальше. Если в школе я представлял жизнь как горную тропинку с препятствиями, то теперь я вполне вкусил отравленных плодов Анчара и отныне вижу перед собой только тьму. Темную гранитную скалу с узеньким покатым уступом, за которым начинается бездна. И мы (человечество) стоим в начале этого уступа, близко-близко к скале. Нам кажется, что уступ достаточно широк, и мы крепко держимся, и до обрыва далеко. Но идет дождь, ледяной, гибельный дождь (солнца в этом мире нет — оно существует только в воображении наиболее упоротых из нас, а остальные тешатся оргиями, интрижками, ничтожной властью и безумием). Уступчик под нами становится скользким, мы начинаем сползать в бездну. И мы все в нее сползем. Мы можем чуть-чуть замедлить наше скольжение, если оттолкнемся от чего-то. А отталкиваться не от чего, разве что от тех, кто нас окружает. Тогда мы будем сползать медленнее, а наше окружение — быстрее. Общество так и устроено. Сильные отталкиваются от слабых. А я в самом низу. От меня отталкиваются самые слабые, и я на пороге бездны. Я успел в нее насмотреться, да так, что бездна сама давно таращится в мое грустное лицо. Скоро я скажу ей «обнимашки» — и полечу туда, откуда еще ни один абонент не был доступен.

* * *

Когда я говорил Патрику «пока», я заметил в голове своей одну гнусную мыслишку. Хотя почему гнусную?

Вполне естественную. Нет. Все-таки гнусную. Естественность — не оправдание, а лишь свидетельство гнилости человеческой душонки (того самого, что поехавшие монахи, сжигавшие людей на кострах, называли первородным грехом). Я ведь раньше с девушками не общался. А потому и подумал: «А что если все девушки настолько круты, как Патрик?» Это было самое явственное свидетельство, что Чистилище пройдено и ото всех благостных мыслишек я очищен. Но страшно не это. Страшно, что в глазах Патрика, свободных от темных очков, которые он больше не носил, я прочитал ту же мысль. И у меня есть основания утверждать, что мне не показалось. Патрик тоже прошел Чистилище до конца.

* * *

Я приехал в университет за пару дней до 1 сентября. Я был ответственным студентом и читал информацию на сайте университета. Там было строго-настроено наказано прийти какого-то там августа. И я пришел.

Жирный хрен в очках заставил нас (первокурсников) драить лестницу. Затем хрен в очках согнал нас всех в огромную аудиторию, заставил выслушать полчасовые речи каких-то старых бюрократических куриц и объявил под конец, что нас отчислят, если мы не устроим на 1 сентября эпическую феерию. Что мы должны были сделать? Мы должны были: а) спеть *Gaudeamus igitur*; б) поразить студенчество и прочую публику искрометным номером. Да, и чуть не забыл. Этот очкастый хер попросил поднять руки тех, кто считает себя творческой личностью. Это словосочетание пробудило в моем подсознании эмоции не самые позитивные, и руки я не поднял. Более того, на тех, кто поднял, я посмотрел с подозрением.

Все это до боли напомнило Последний звонок в «родной» школе. Там тоже выпускники должны были спеть или сплясать. Наш класс представлял «интеллектуальную элиту» школы, а потому все репетиции песен-плясок сводились к бесконечной ругани между собой представителей этой самой «элиты». Каждый, будучи человеком «талантливым» и «одаренным», хотел быть главным, командовать, чтоб было по-его. Глядя на все это, я предложил нашей классной руководительнице написать речь. Я по простоте душевной давал ей почитать наброски своих романов, и та утверждала, будто видит «талант» (конечно, это был элементарнейший педагогический прием под названием «мнимое подлизывание», а сама классручка была душой). На репетиции утренника, то есть Звонка, она заявила, что программой утверждены песни и пляски, а речь моя никому не нужна. И, словно проходя экзамен на наличие рабского менталитета, я

согласился тогда спеть в составе хора. И спел, хотя и ненавидел школу, пустые души, окружавшие меня на этом официозном «празднике» и потуге бездарных людишек «самовыразиться». А элита сплясала, хоть и ни хера не репетировала. Как коровы пляшут на катке — вот так и сплясали. И зрители (родители и учителя), помня о «мнимом подлизывании», педагогично похлопали. И все равно, несмотря на публичное унижение, тот день стал одним из самых счастливых в моей жизни. Над Москвой тогда был удивительный закат. Я дико нажрался пивом и вином, расстегнул рубашку и катался по улицам на велосипеде, горланя песни на английском языке, которого не знал. А ленточку и колокольчик я вышвырнул в ближайшую помойку, ибо верил в наступившую свободу, как быдло в 91-м году — в дедушку Ельцина.

Но вернемся в настоящее. Мне снова приказывали спеть и сплясать, причем под угрозой отчисления (что было равносильно повестке в армию). Я был озадачен. Тем более я был озадачен, что боялся людей, а со мной, еще во время чистки лестницы, познакомился парень из моей группы. Этот тип вскоре вывел меня и на остальных моих однокашников, преимущественно девчонок. Они собрались во дворе факультета, на лавочках, отведенных для курения, и обсуждали, какой номер поставят. В итоге решили, что переделают одну предерьмовейшую попсовую песню под еще большее дерьмо, и это будет «креативно».

* * *

День ото дня мне становилось все хуже и хуже, и вкусить радость познания новых наук вместе со всеми не вышло. Числа так 31 августа я обнаружил, что не могу встать с постели. У меня ничего не болело, только все тело охватила невероятная слабость, и температура поднялась до 39 градусов.

«Ты любишь болеть?» — удивленно спросил Карлсона Малыш. «Так кто ж не любит! Лежишь себе, ничего не делаешь!..» Любил и я. В школе я обожал болеть и часто этим занимался. Целую неделю, а то и больше не видеть пидорасов, мечтающих отправить тебя на тот свет, — ну разве не счастье? За это можно заплатить и температурой, и болью, и поносом со рвотой. Все изменилось, когда школа кончилась, а ФСБ началась. Каждый мой чих, покашливание, жалобу на недомогание мать стала расценивать как очередное доказательство, что я отравлен полонием или как минимум

солями свинца. Потому болеть я перестал.

В этот раз не болеть не получилось. Я пролежал на диване неделю, вторую. Температура оставалась на одном уровне. Мать стала вызывать скорую помощь, эскулапов из поликлиники. Диагнозы они ставили противоречивые, а назначаемые препараты облегчения не приносили. Мать потащила меня в поликлинику, сначала к терапевту. Старуха-терапевт возненавидела меня, едва узнала, что у меня ничего не болит. «Как так — “не болит”! — завопила она. — А почему температура?» И направила меня к пяти разным врачам, которые поставили мне пять разных диагнозов, начиная от хронического запора и заканчивая туберкулезом. Мать (надо отдать ей должное) не только не прислушалась ни к одному из них, но и свой внутренний голос, подсказывавший, что это полоний, проигнорировала и повела меня в находившуюся неподалеку платную больничку, где лечатся «слуги народа». И только там врач-терапевт, кандидат наук, проконсультировавшись по телефону со своим учителем-академиком, предположила, что у меня инфекционный мононуклеоз. Специальный анализ крови подтвердил диагноз. А я и не знал, что такая болезнь есть на свете. Так или иначе, опасность моей жизни практически не грозила, и через пару недель все должно было пройти само собой, если только не лопнет печень или селезенка.

Поскольку я пишу это, можно судить, что через две недели все и прошло, и «печенка» (как называла этот орган старуха-терапевт) не лопнула. Вот только в государственной поликлинике меня возненавидели еще больше из-за того, что я обратился в платную больничку, где установили правильный диагноз, поставив под сомнение компетентность бюджетных врачей. Все та же старуха-терапевт заявила, что выпишет меня в университет не раньше, чем через пару месяцев. Ее можно было понять: хотя я к тому времени уже не распространял мононуклеаров, все равно, склей я ласты от разрыва печени или селезенки, ответственность может лечь на нее. Я плюнул и пошел в университет без справки.

(Данную главу не следует рассматривать как выражение моего неприятия бесплатной медицины. Я, между прочим, считаю, что медицина должна быть исключительно бесплатной. Невзирая на все препоны, до недавнего времени в государственных поликлиниках и больницах находились отличные специалисты, которые мне очень помогали. Но ныне большинство их выкинула оттуда преступная реформа здравоохранения.)

Продолжение следует.